

Владимир Кожедеев



Экспанат N 147

Мистика. Детектив-загадка. Мистические детективы

Владимир Кожедеев

Экспонат N 147

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Экспонат N 147 / В. Кожедеев — «Автор», 2026 — (Мистика.
Детектив-загадка. Мистические детективы)

Петербург, 1888 год. Императорский Археологический музей. В витрине зала номер семь на бархатной подушке лежит резная моржовая кость — странный артефакт с изображением оленя и старинного корвета. По музейным описям — просто редкость. По ночам — нечто совсем иное. Старый смотритель Афанасий Модестович Стахович, человек порядка и здравого смысла, привык иметь дело с мёртвыми вещами. Но экспонат № 147 не желает оставаться мёртвым. Он светится во тьме, источает запах морской соли и зовёт — кого-то, кто сможет открыть дверь, запертую пятьсот лет назад. Когда в музее объявляется таинственный коллекционер, готовый на всё ради обладания костью, а следом — не менее таинственный «корреспондент» со своими целями, начинается игра, в которой правила меняются каждую ночь. Кость исчезает, появляется, раздваивается, заставляя живых сомневаться в реальности, а мёртвых — приближаться к границе. «Экспонат № 147» — это история о том, как древняя тайна втягивает в свой водоворот людей.

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Вместо предисловия.	5
Глава 1. Дача графа Строганова, 1825 год.	6
Глава 2. Музей, 1888 год.	7
Глава 3. Дневник смотрителя.	9
Глава 4. Чужой интерес.	12
Глава 5. Охотник за костью	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Владимир Кожедеев

Экспонат N 147

Вместо предисловия.

За стеклом витрины, в тишине, где время течёт иначе, чем за массивными дубовыми дверями музея, лежал он. На бархатной подушке цвета воронова крыла покоился обломок кости – моржовой, как значилось в ветхой описи, – покрытый прихотливой, вьёвшейся в поры резьбой. Рисунок был странным, двойственным: с одной стороны, солнечный олень, переплетённый корнями, с другой – парусный корвет, уходящий в штормовое море. Два века, казалось, сходились в этом куске ископаемой кости.

Для посетителей, что редкой чередой тянулись по залу Императорского Археологического музея, это был просто экспонат под номером сто сорок седьмой. «Предмет тотемного культа народов Севера, с элементами позднейшего европейского влияния, конец XVIII века», – шептали экскурсоводы в форменных сюртуках, указывая указками. Но старый смотритель, Афанасий Модестович, знал: вещи живут своей памятью, особенно те, что пришли в музей из частных коллекций в те смутные времена, когда сам музей был ещё только в проекте.

А история у этого обломка была.

Глава 1. Дача графа Строганова, 1825 год.

Дождь барабанил по стеклянной крыше оранжереи, превращая её в огромный, сырой барабан. Граф Павел Александрович Строганов, отложив в сторону акварельный набросок уральского пейзажа, хмуро смотрел на гостя. Гость – человек немолодой, с лицом, обветренным арктическими ветрами, в куртке, сшитом явно не в петербургских модных мастерских, – сидел напротив, нервно перебирая пальцами свёрток, перевязанный бечёвкой.

– Вы говорите, это с Югорского Шара, Ефим? – спросил граф, прищурившись. Строганов славился не только своей коллекцией западной живописи, но и страстью к отечественным древностям. В его особняке на Невском уже теснились шкафы с каменными бабами, чудскими гривнами и зырянскими идолами.

– Так точно, ваше сиятельство, – голос гостя, промышленника Ефима Хабарова, был глух, как тот самый дождь за окном. – Нашли мы его в прошлом году, на становище у самоедов. Старик шаман отдал. Или не отдал... – Ефим запнулся. – Это как посмотреть.

– Поясните.

– Старик тот, Таганай, всё твердил, что это не его дедов работа. Сказывал, приплыл этот кусок кости по волне с большой воды. На нём, видите ли, ихний дух леса, Хозяин зверя, – Ефим развернул свёрток, и граф увидел ту самую резьбу, что сейчас лежит в музее, но без трещины, пересекающей теперь оленьи рога. – А с другой стороны, – Ефим перевернул кость дрожащими пальцами, – корабль. С мачтами, с парусами, словно ихние поморы на Мурмане рисуют, но вязь вокруг – наша, славянская, вязь.

– Не может быть, – граф взял в руки кость, чувствуя её ледяную тяжесть. – Две эпохи, два мира... Как такое могло совпасть на одном берегу?

– В том и суть, ваше сиятельство. Старик говорил, что это – закладной талисман. Сгинувшая ватага, новгородская ушкуйница, что ушла за Камень ещё при Иване Третьем, поставила зимовье в устье, и, чтобы скрепить мир с местными, вырезали они этот знак. Морского зверя – им, а свой крест и ладью – себе. А потом... – Ефим понизил голос до шёпота, – потом их всех поглотило море. Всех до единого. И шаман взял талисман себе, чтобы духи тех людей не тревожили берег. А теперь, – Ефим перекрестился, – теперь отдал. Сказал: «Время вышло. Он сам себе хозяина ищет».

Граф Строганов усмехнулся. Он был человеком просвещённым, другом либералов и членом Вольного экономического общества. В шаманские сказки он не верил, но в историческую ценность предмета – верил свято. Двойная резьба была артефактом встречи цивилизаций, возможно, первым свидетельством контакта русских первопроходцев с аборигенами Заполярья.

– Сколько? – спросил он сухо.

– Я не деньгами, ваше сиятельство. Меха. Песком. И чтобы сына моего, Гришку, в гимназию определили. Способный он.

Граф кивнул. Сделка была заключена. Кость перекочевала в дубовый шкаф № 14 в строгановской коллекции, а старый шаман в далёком становище, получив взамен котёл и ножи, долго смотрел вслед уходящего судёнышка, шепча: «Вернётся. Как вода возвращается».

Глава 2. Музей, 1888 год.

Прошли десятилетия. Графа Строганова давно не было в живых. Его коллекция, по воле наследников, отошла в Румянцевский музей, а оттуда, после череды экспертиз, – в новый Императорский Археологический музей на Васильевском острове.

Здесь предмет обрёл номер, опись и новую жизнь – бездушную, научную. Гипотезы сменяли одна другую: одни профессора утверждали, что это подделка XVIII века, другие доказывали, что корвет на обратной стороне – это «Святой Пётр» Витуса Беринга. Но никто не смотрел на кость как на свидетеля.

А она, между тем, жила своей, странной жизнью. Смотрители уходили один за другим. Первый, старый солдат, рассказывал, что по ночам слышит за стеклом скрежет, будто кто-то точит камень о камень. Второй, молодой студент, подрабатывавший здесь, в один день не вышел на службу, прислав записку: «Не могу более, мерещится запах моря и соли, а на стёклах иней, даже летом». Афанасий Модестович, сменивший их всех, был человеком коренным, петербургским, скептическим до мозга костей. Он тёр стёкла до блеска, боролся с сыростью и ворчал на коллег-учёных, что таскают экспонаты без перчаток. К странностям он относился философски: «Музей – место мёртвое, тут всё мерещится».

Но однажды, холодным ноябрьским вечером 1888 года, когда за окнами музея, на набережной, выл ветер, предвещая ледостав на Неве, Афанасий Модестович задержался допоздна, сверяя описи. Свечи в высоких подсвечниках чадили, отбрасывая чудовищные тени от скелетов мамонта и древних баб.

Он переписывал номер «сто сорок седьмой». И тут сквозь вой ветра он услышал иное – низкий, глухой гул, похожий на натянутый канат, вибрирующий в шторм.

Звук шёл из витрины с костью.

Афанасий Модестович подошёл ближе. На тёмном бархате резной обломок лежал неподвижно. Но смотритель, человек не робкого десятка, вдруг почувствовал, как от витрины тянет холодом, не таким, каким тянет от старых стен, а солёным, пронизывающим, будто он стоял не в центре столицы империи, а на голом берегу Ледовитого океана.

Он перекрестился по привычке, доставшейся от няни в детстве. И в этот момент треснуло стекло.

Тонкая, едва заметная трещина пробежала по защитному стеклу витрины, но главное – Афанасий Модестович ясно увидел, что на самом экспонате, на стороне с оленем, появилась новая трещина, которой ещё утром не было.

Она аккуратно разделила фигуру оленя пополам, словно невидимый клинок.

Смотритель отшатнулся. В ушах его стоял шум прибоя. Он нашарил в кармане ключи и, не надевая шинели, выбежал в коридор, к охраннику, решив, что это сквозняк от старых рам и галлюцинация от усталости.

Вернулись они вдвоём со сторожем, захватив лампу «молнию». Но в зале всё было тихо. Стекло витрины было целым. Трещина на кости? Афанасий Модестович приложился лицом к стеклу. Бархатная подушка, резьба. Всё на месте. Цело. Лишь номерок «147» чуть покосился, будто его задели.

– Почудилось вам, Афанасий Модестович, – зевнул сторож. – Сырость нынче.

– Да уж, – выдавил смотритель. Но он знал, что это не почудилось. И, уходя, он бросил взгляд на огромное окно, выходящее на Неву. В стекле отражался не он и не зал музея. На секунду ему почудилось там отражение парусов и чёрной ледяной воды, уходящей в бездну.

Кость ждала. История, запёртая в ней, требовала продолжения. Или развязки.

*В описи Императорского Археологического музея за 1888 год рукой Афанасия Модестовича Стаховича была сделана приписка карандашом на полях напротив номера 147: «Скло-

нен к списанию в запасники. От экспоната исходит физическое воздействие. Природа – неизвестна. Подал прошение об отпуске». *

Глава 3. Дневник смотрителя.

Прошение об отпуске, начертанное каллиграфическим почерком бывшего канцеляриста, ушло в директорскую канцелярию в тот же день. Афанасий Модестович Стахович был человеком правил. Правила гласили: если экспонат вызывает у хранителя сомнения в его сохранности, о сем надлежит доложить начальству. О том, что он видел трещину, которая исчезла, он, разумеется, умолчал. Для таких вещей в правилах места не было.

Отпуск, однако, не состоялся. Управляющий музеем, статский советник Берг, человек сухой и далёкий от мистики, наложил резолюцию: «Отказать по причине отсутствия замены. Стаховичу – обратиться к музейному врачу».

– К врачу! – фыркнул Афанасий Модестович, прочтя бумагу. – У меня печень, ежели что, а не мозги. И печень тут ни при чём.

Он спрятал очки в футляр и отправился в зал номер семь, где в витрине у окна покоился номер сто сорок седьмой. В утреннем свете, пробивавшемся сквозь высокие, плохо отмытые окна, экспонат выглядел безобидно. Моржовая кость цвета старого янтаря, тронутая благородной патиной веков. Трещины, что так испугали его вчера, если и существовали, то были столь древними и естественными, что сливались с резьбой.

– Наваждение, – прошептал он себе под нос, поправляя номерок. – Сырость, сквозняк, переутомление.

Но наваждение имело привычку возвращаться.

Через три дня, ровно в полночь, когда Афанасий Модестович обходил залы с фонарём – ритуал, который он исполнял двадцать лет, не пропустив ни единой ночи, – он снова услышал этот звук. Тот самый: низкий, тягучий гул, словно где-то в стенах музея гудела туго натянутая струна корабельного такелажа.

Звук шёл из зала номер семь.

Афанасий Модестович остановился в дверях. Сердце его, привыкшее к спокойному ритму казённой службы, забило где-то у горла, но он не был бы собой, если бы отступил. Он был смотрителем. Экспонаты – его подопечные. И если один из них буянит, дело смотрителя – навести порядок.

Он вошёл.

Зал был залит лунным светом – Нева в эту ночь стояла подо льдом, и луна отражалась в снежных просторах, делая ночь почти прозрачной. И в этом призрачном свете Афанасий Модестович увидел, что витрина номер сто сорок семь... дышит.

Он не мог бы объяснить это иначе. Стекло витрины слегка вибрировало с равномерным ритмом, как грудь спящего человека. На его поверхности, изнутри, выступала тончайшая изморось, складывающаяся в причудливые узоры – ветвистые, похожие на оленье рога. А сам экспонат...

Кость светилась.

Неярко, не бросая теней, а лишь обозначая себя мягким, фосфорическим свечением, которое струилось по линиям резьбы, оживляя их. Афанасий Модестович видел, как олень на одной стороне пряданул ухом – отчётливо, как живой – и замер, повернув голову в сторону корвета. А корвет, в свою очередь, качнулся на невидимой волне, и его паруса, тончайшая резьба, которую и под лупой-то разглядеть было трудно, наполнились ветром, которого в душном музейном зале быть не могло.

Смотритель стоял, вцепившись в фонарь так, что костяшки пальцев побелели. Рациональный ум его, привыкший оперировать инвентарными номерами и датировками, пытался найти объяснение: отражение, игра света, газы, скопившиеся в порах кости за столетия, накопец, галлюцинация, о которой предупреждал музейный врач.

Но запах мокрого дерева и соли, заполнивший лёгкие, не был галлюцинацией. И холод, исходивший от витрины, был настоящим, таким, от которого немеют пальцы в январскую стужу.

– Именем Господним, – выдохнул Афанасий Модестович и перекрестился широким крестом, как учила его покойная матушка. – Уймись.

И случилось чудо, или, быть может, нечто противоположное чуду.

Свечение погасло. Изморось на стекле собралась в капли и стекла вниз, оставляя мокрые дорожки. Вибрация прекратилась. Кость на бархатной подушке лежала мёртвой, обычной вещью, как и подобает музейному экспонату.

Только запах солёной воды остался. И на дубовом полу, у ног Афанасия Модестовича, блестела маленькая лужица, откуда ни возмись взявшаяся, – холодная, пахнущая водорослями и глубиной.

Смотритель медленно опустился на стоявший у стены венский стул. Ноги его не держали. Он просидел так до самого утра, глядя на тёмную витрину, и ни разу не сомкнул глаз. Сторож, заглянувший на рассвете, нашёл его в том же положении – бледного, с воспалёнными глазами, но с необычайно спокойным лицом человека, который наконец принял решение.

Утром, вместо того чтобы идти в канцелярию за новым предписанием, Афанасий Модестович заперся в своей маленькой сторожке – комнатухе, заваленной старыми газетами, чернильницами и связками ключей. Он достал из стола толстую тетрадь в коленкоровом переплёте, куда обычно записывал показания термометра и гигрометра в залах, и перевернул чистую страницу.

Сверху он вывел ровным, казённым почерком: «Дело № 147. О наблюдениях, не подлежащих объяснению в рамках инструкции».

Аккуратным, бесстрастным языком, каким составлял акты приёмки-передачи, он описал всё, что видел за последние дни: даты, время, погоду за окном, свои ощущения. Никаких эпитетов, никаких «чудилось» и «казалось». Только факты: свечение, вибрация стекла, запах, лужица на полу. В конце приписал: «Свидетельствую, что психическим расстройством не страдаю, спиртным не злоупотребляю, нахожусь в трезвом уме и твёрдой памяти».

Затем он отправился в городскую публичную библиотеку.

Там, в пыльном читальном зале, Афанасий Модестович, одетый в свой единственный приличный сюртук, провёл три дня. Он перерыл подшивки «Губернских ведомостей» за полвека, описания экспедиций, этнографические очерки и даже фолианты по корабельной археологии. Помог ему случай – или, как он потом думал, не случай вовсе.

В одном из ветхих томов «Записок Императорского Русского географического общества» за 1843 год он нашёл статью некоего штабс-капитана Корсакова, участника гидрографической экспедиции вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Статья называлась «О реликтовых погребениях самоедов и связанных с ними поверьях».

Афанасий Модестович пробежал глазами введение, перелистал страницы и замер.

Корсаков описывал становище у Югорского Шара, где в 1841 году он присутствовал при обряде «отпущения души» древнего шаманского предмета. Старый нганасанин по имени Таганай, последний из своего рода, передал ему историю, которую тот записал со слов, но не придал значения, сочтя «баснословием».

Вот что гласила запись:

«...И есть у нас кость, что не наша. Пришла она с моря вместе с белыми людьми на деревянных птицах. Сошлись те люди с нашими стариками и сделали знак на кости – свой и наш, чтобы земля приняла обоих. Но море не приняло никого. И сгнули те люди, все до единого. А кость осталась. И теперь, говорят старики, пока кость цела, души тех людей не знают покоя. Они идут за костью, ищут её, чтобы вернуться. И когда кость найдёт дом в земле белых

людей, тогда они придут. Не как враги, нет. Как забытые дети, что потеряли дорогу домой. И горе будет тому, кто встанет между костью и её тоской...»

Афанасий Модестович перечитал эти строки трижды. Затем медленно закрыл фолиант, снял очки и протёр их носовым платком. Руки его дрожали, но не от страха – от напряжения.

Он вспомнил слова промышленника Хабарова, записанные в старых строгановских описях, которые он самолично переносил в новый инвентарь десять лет назад: «Время вышло. Он сам себе хозяина ищет».

Теперь, спустя шестьдесят с лишним лет, кость нашла себе дом в Императорском музее. И она ждала. Но чего? Когда придёт срок? И что значит «придут как забытые дети»?

Афанасий Модестович сидел в читальном зале, пока за окнами не зажглись фонари, и всё думал, думал. Человек порядка, он не мог допустить хаоса в своём музее. Не мог позволить, чтобы стены, где он служил двадцать лет, стали местом явления духов или, того хуже, предметом газетных пересудов, что погубили бы репутацию и разогнали бы коллекцию по частным собраниям.

Он решил действовать.

В тот же вечер, вернувшись в музей, он не пошёл в сторожку, а направился в зал номер семь. С собой он нёс свёрток: кусок тяжёлого чёрного бархата, купленный в лавке на Литейном, и медный крест – старый, ещё отцовский, найденный на дне сундука.

Аккуратно, так, чтобы не коснуться стекла, он обернул витрину бархатом, оставив щель только для воздуха – ведь если верить Корсакову, предмет был не мёртвым, а лишь спящим. Поверх бархата он повесил крест, накрепко примотав его бечёвкой к дубовой подставке витрины.

– Ты, – сказал он кости негромко, но твёрдо, как говорил с непослушными писарями в бытность свою канцелярским чиновником, – лежи смирно. Я твою историю понял. Но шуметь в моём музее не позволю. Не для того мы тебя сохранили, чтоб ты стены нам валил.

Кость молчала. Бархатная обивка глушила любые возможные звуки.

Афанасий Модестович постоял, ожидая, не ответит ли она. Не ответила.

Тогда он вернулся в сторожку, зажёл лампу, раскрыл тетрадь «Дело № 147» и написал на новой странице:

«11 декабря 1888 года. Витрина задрапирована. Крест установлен. Внешних проявлений не наблюдается. Однако запах соли, отчётливо различимый в зале номер семь, не выветривается. Сделал запрос в библиотеку о полной истории поступления экспоната. Жду ответа. Если мои догадки верны, следует ожидать чего-то в канун зимнего солнцестояния – по местным поверьям, время, когда границы между мирами истончаются. Принять меры».

Он отложил перо и долго сидел, глядя на пламя лампы. Что-то подсказывало ему: бархат и крест – лишь временная преграда. Кость не просто ждала. Она приближалась к чему-то. Как стрелка компаса, дрожащая перед тем, как указать на север.

За окном, над закованной в лёд Невой, вставала луна – огромная, багровая, какая бывает только в декабре, перед самыми долгими ночами в году.

В тетради Афанасия Модестовича Стаховича, обнаруженной в архивах музея почти через сто лет, осталось ещё восемь страниц, заполненных его мелким, аккуратным почерком. Последняя запись датирована 25 декабря 1888 года. Далее – несколько чистых листов, вырванных из тетради, и одна страница, на которой кто-то другой рукой, торопливо и размашисто, написал одно-единственное слово:

«Пришли».

Глава 4. Чужой интерес.

Слухи в музейном мире распространялись медленно, но верно – как ртуть по наклонной поверхности. И если учёные мужи спорили о происхождении экспоната в академических журналах, то совсем иные люди интересовались вещами иного свойства: ценой, редкостью, возможностью "приобретения" в обход инвентарных книг.

Афанасий Модестович не был наивным. Двадцать лет службы научили его одному: в музее, где собраны сокровища империи, всегда водятся те, кто хотел бы видеть эти сокровища в своих гостиных или заграничных кабинетах. Случались и пропажи – мелкие, тщательно заматываемые, списанные на "утрату при переезде" или "ветхость материала". Но чтобы кто-то покусился на витрину в зале номер семь? Такого не бывало. Там не было золота, не было бриллиантов – одна "кость с резьбой", ценная лишь для узкого круга этнографов.

Так думал Афанасий Модестович до тех пор, пока в один морозный декабрьский день в музей не пожаловал необычный посетитель.

Это случилось семнадцатого декабря. С утра валил снег, крупный, липкий, обещавший к вечеру превратить петербургские улицы в непролазную целину. Посетителей в музее было мало – обычное дело для буднего дня, да ещё в такую погоду. Афанасий Модестович сидел в своей сторожке, переписывая набело ежемесячный рапорт о температурном режиме, когда услышал тяжёлые шаги в коридоре. Шаги были не служительские – те ходили тихо, привыкнув к музейной благоговейной тишине. Эти шаги звучали уверенно, хозяйски, с лёгким постукиванием трости о паркет.

В дверь постучали – два коротких, властных удара.

– Войдите, – сказал Афанасий Модестович, поднимаясь из-за стола.

На пороге стоял господин лет сорока пяти, высокий, худощавый, с аккуратно подстриженной русой бородкой и быстрыми серыми глазами, которые, казалось, замечали всё и сразу. На нём был дорогой, но не кричащий сюртук из тёмно-синего сукна, отличные замшевые перчатки, которые он держал в левой руке, и трость с набалдашником из слоновой кости – Афанасий Модестович отметил это про себя, ибо набалдашник был вырезан в виде головы моржа.

– Господин Стахович? – осведомился гость, чуть склонив голову. Голос у него был тихий, вкрадчивый, с едва уловимой нерусской интонацией.

– К вашим услугам, – Афанасий Модестович указал на единственный свободный стул. – Чем могу быть полезен?

Гость представился: Павел Николаевич Велесов, коллекционер, член Императорского Общества любителей древностей. Он говорил неторопливо, со вкусом, и каждое его слово, каждый жест выдавали человека, привыкшего, чтобы его слушали и исполняли.

– Я наслышан о вашей коллекции, Афанасий Модестович, – сказал Велесов, окидывая взглядом тесную сторожку, заваленную бумагами. – И в особенности – о некоторых предметах из собрания графа Строганова. Меня интересует один экспонат. Резная моржовая кость. Обозначенная в описи под номером сто сорок семь.

Афанасий Модестович внутренне напрягся, но виду не подал. Он привык к вопросам о коллекции, но обычно их задавали профессора или студенты, а не столичные коллекционеры с тростью из моржового клыка.

– Экспонат находится в зале номер семь, – ровным голосом ответил он. – Доступен для обозрения в часы работы музея. Если вы желаете получить научную консультацию, вам следует обратиться к хранителю коллекции, господину Штейну.

– О, я уже беседовал со Штейном, – Велесов небрежно махнул рукой, и в этом жесте Афанасию Модестовичу почудилось что-то пренебрежительное. – Но Штейн – учёный. Он видит в

предмете лишь объект для диссертации. А я, знаете ли, коллекционер. Меня интересует иная сторона.

Он помолчал, разглядывая стопку газет на столе, затем перевёл взгляд на зрителя. В серых глазах его блеснуло что-то хищное, но тут же погасло.

– Я слышал любопытные истории об этом предмете. Говорят, он обладает... необычными свойствами. Вы, как человек, проводящий здесь много времени, должны были заметить.

– Я зритель, сударь, – Афанасий Модестович выдержал его взгляд. – Моё дело – следить за порядком и сохранностью. За свойствами экспонатов пусть следят учёные.

– Разумеется, разумеется, – Велесов улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. – Я и не настаиваю. Просто хочу предложить музею сделку. Я готов приобрести этот предмет для своей коллекции. На условиях, весьма щедрых. Деньги, обмен на равноценные экспонаты из моего собрания – что угодно. Я уже имел предварительный разговор с господином директором, но он, как водится, тянет с ответом. – Велесов поднялся, одёрнул сюртук. – Я зайду ещё. А вы, Афанасий Модестович, будьте любезны, присмотрите за моим будущим приобретением. Оно, говорят, капризное.

Он усмехнулся чему-то своему, кивнул и вышел, оставив после себя лёгкий запах дорогого одеколона и смутную тревогу, которая поселилась где-то под ложечкой у Афанасия Модестовича.

Тревога эта усилилась на следующий день.

Утром, обходя залы, Афанасий Модестович обнаружил, что бархатная драпировка на витрине номер сто сорок семь сдвинута. Всего на вершок, но достаточно, чтобы сквозь щель можно было разглядеть экспонат. Крест, примотанный бечёвкой, висел криво, словно его трогали.

– Степан! – позвал он сторожа, старого солдата, спавшего на стуле у входа в египетский зал. – Ты вчера вечером в седьмой зал заходил?

Степан, человек простой и честный, вскочил, вытянулся:

– Никак нет, Афанасий Модестович. Я по инструкции – вечером все двери запер, проверил, и в сторожку. Не заходил.

– А кто заходил? Из служителей?

– Никого не было. Только тот барин вчерашний. Я его в четыре часа выпускал, он ещё спрашивал, где у вас кабинет. Может, он после и вернулся? Я-то уже спать завалился...

Афанасий Модестович нахмурился. Он знал, что служители после закрытия музея частенько засыпали на постах, а ключи от запасных выходов хранились в сторожке, куда имел доступ едва ли не каждый. Пропажа драгоценностей из Эрмитажа три года назад показала, что даже самые охраняемые музеи не застрахованы от воровства.

Но зачем вору кость? Продать? Но тогда зачем этот визит, эти расспросы, это предложение купить?

Велесов не был похож на вора. Он был похож на человека, который привык получать желаемое законным путём. Однако в его повадках было что-то от охотника, который сперва изучает дичь, а уж потом нажимает на курок.

Афанасий Модестович вернулся в сторожку и раскрыл свою тетрадь.

«18 декабря. Посетитель – Велесов П.Н., коллекционер. Проявлял настойчивый интерес к № 147. После его визита драпировка витрины нарушена. Предполагаю, что господин Велесов вернулся в музей после закрытия неофициальным путём. Цель – осмотр экспоната без свидетелей. Мотив – неясен. Если ему нужно просто купить предмет, зачем осматривать его тайно?»

Он поставил дату и задумался. Мысли его текли медленно, но верно, как всегда. Если Велесов – не просто коллекционер, а человек, которому предмет нужен любой ценой, он может пойти на подлог. Подкупить чиновника, изменить опись, объявить экспонат "утраченным по

ветхости". Такое случалось. Или ещё проще: нанять людей, которые просто вынесут витрину ночью, воспользовавшись халатностью служителей.

Афанасий Модестович посмотрел на календарь. До Рождества оставалось неделя. Музей перед праздниками работал с перебоями, служители часто отлучались, сторожей не хватало – кто в запой, кто к родне. Самое удобное время для кражи.

Он принял решение.

В тот же день Афанасий Модестович отправился к хранителю коллекции, барону Штейну – человеку учёному, близорукому, погружённому в свои каталоги настолько, что реальный мир со всеми его опасностями существовал для него лишь на страницах фолиантов.

Барон Штейн, худой, сутулый, с вечно взлохмаченной седой шевелюрой, сидел в своей каморке, заваленной папками с гранками. На столе перед ним лежала открытая книга – последний номер "Археологических вестей" со статьёй о строгановской коллекции.

– Афанасий Модестович! – обрадовался он, увидев зрителя. – Вы вовремя! Посмотрите, что пишут о нашем экспонате! Господин Велесов опубликовал заметку, где утверждает, что резьба на обороте – не корвет, а шведский шняк XVII века! Представляете? Шведский! Я, разумеется, готовлю опровержение, но...

– Барон, – перебил его Афанасий Модестович, опускаясь на стул. – Я хочу поговорить о господине Велесове. Он был здесь вчера.

– Да-да, чудесный образованный человек, – Штейн поправил очки. – Предлагает обменять наш экспонат на три сарматские фибулы из своей коллекции. Директор в раздумьях, но я, признаться, против. Номер сто сорок семь – уникален. Его место в нашем музее, а не в частном собрании.

– Он предлагал вам деньги? – спросил Афанасий Модестович.

– Деньги? – Штейн наморщил лоб. – Нет, кажется, только обмен. Хотя... – он порылся в бумагах, – вот, он оставил записку. Я хотел показать её директору.

Афанасий Модестович взял листок. Бумага была плотная, с вензелем "В" в углу. Короткая записка гласила:

«Уважаемый барон, позвольте предложить Вам лично, вне зависимости от решения музея, вознаграждение за содействие в передаче экспоната № 147 в моё собрание. Размер вознаграждения Вы определяете сами. Велесов».

Афанасий Модестович перечитал записку дважды. Всё становилось на свои места. Велесов не просто хотел купить экспонат – он пытался подкупить хранителя. И если Штейн, человек честный, отказался, найдутся другие. Сторожа. Уборщики. Кто угодно за тысячу рублей.

– Барон, – сказал он, возвращая записку. – Я прошу вас сделать две вещи. Первое: сообщить директору о попытке подкупа. Второе: разрешить мне на время праздников взять экспонат под личный надзор.

– Личный надзор? – Штейн удивился. – Но это нарушение инструкции. Экспонаты не покидают залов без письменного распоряжения...

– Экспонаты не покидают, – согласился Афанасий Модестович. – Но я могу покидать залы вместе с ними? Нет, я не о том. Я хочу переночевать в зале номер семь. Несколько ночей. Под предлогом проверки отопительной системы – трубы там старые, того гляди лопнут. А на самом деле – присмотреть за витриной.

Штейн смотрел на него с недоумением, но в глазах зрителя было что-то такое, что заставило учёного согласиться.

– Хорошо, – сказал барон. – Я оформлю это как технический осмотр. Но Афанасий Модестович... вы что-то не договариваете. Что вас тревожит?

– Тревожит, барон, то, что этот экспонат привлекает не только учёных. А в тёмное время, когда музей пустеет, находятся люди, для которых древности – лишь способ наживы. Или что-то похуже.

Вечером того же дня Афанасий Модестович перетащил в зал номер семь старую солдатскую койку, одеяло и ту самую лампу "молнию", с которой обходил музеи по ночам. Он установил койку в нише за колонной, откуда видна была вся витрина, но сам он оставался незаметным для случайного взгляда.

Перед уходом последнего служителя он проверил замки на дверях. Дверей в зал номер семь было две: парадная, из главной анфилады, и служебная, из коридора, где хранились метлы и ведра. Служебная дверь запиралась изнутри на тяжёлую задвижку – старую, ещё строгановских времён. Афанасий Модестович лично задвинул её, проверил, и ключ от парадной положил в карман жилета.

Затем он сел на койку, закутался в шинель и стал ждать.

Мысли его были тяжелы. Он думал о том, что, возможно, сгущает краски. Что Велесов – просто богатый чудака, коллекционирующий редкости, а записка с предложением взятки – обычное дело для мира, где всё продаётся и покупается. Что кость, быть может, и вправду не более чем кость, а все странности – плод его большого воображения.

Но он вспомнил лунный свет, оживающую резьбу, запах соли на дубовом полу – и сомнения ушли.

Ночь тянулась медленно. В зале было холодно, несмотря на тёплую шинель. Лампа "молния" тускло освещала колонны, витрины, скелеты мамонта, похожие в полумраке на допотопных чудовищ. Время от времени Афанасий Модестович вставал, подходил к витрине номер сто сорок семь, проверял драпировку. Кость лежала неподвижно. Ни свечения, ни гула. Словно затаилась, чувствуя, что за ней следят.

Под утро, когда небо за окнами начало сереть, он провалился в короткий, тяжёлый сон. Приснилось ему море – чёрное, ледяное, с гребнями пены, похожими на седые бороды. В море шёл корабль с надутыми парусами, а на берегу стоял олень и смотрел на корабль человеческими глазами.

Он проснулся от скрипа.

Скрип шёл от служебной двери. Кто-то осторожно, но настойчиво пытался сдвинуть задвижку.

Афанасий Модестович замер. Сердце его заколотилось где-то в горле, но рука уже нащупала под одеялом тяжёлый фонарь. Он не зажигал лампу, только прислушивался.

Задвижка скрипнула ещё раз. Потом – тишина. Затем – шёпот, едва различимый за толстой дверью:

– Не идёт. Заперто изнутри.

– А с парадной? – второй голос, низкий, хриплый.

– Там ключ у старика. Надо было брать, когда он спал.

– Дурак. Я говорил – надо было раньше. Пока он свою драпировку не повесил. Теперь сторожей разбудим.

– Да чего он там сторожит? Кость как кость. Велесов сказал – если не выйдет купить, то вынести. А вынести можно в любой день. Старик не будет же вечно здесь спать.

– Велесов сказал – до Рождества. Чтобы к празднику уже было у него. Ты понял? До Рождества.

Шаги удалились. Задвижка больше не скрипела.

Афанасий Модестович сидел на койке, сжимая фонарь так, что пальцы онемели. Он узнал голоса. Первый принадлежал Степану, сторожу, который клялся, что "никого не было". Второй – молодому служителю Петру, которого барон Штейн нанял месяц назад помогать с каталогом.

Свои. Свои люди. Те, кому он доверял ключи и кому поручал охрану музея по ночам.

Он медленно выдохнул и зажёл лампу. Свет ударил по витринам, по скелетам, по бархатной драпировке, за которой лежала кость. Он подошёл к витрине, отодвинул ткань и долго смотрел на резную поверхность, на оленя и корвет, на тонкую трещину, что разделяла их.

– Вот, значит, как, – сказал он негромко. – Ты ищешь себе хозяина, а нашли тебя воры. Или не только воры? Велесов этот – он кто? Коллекционер? Или тоже чувствует, что ты не простая кость? Может, ищет твою силу?

Кость молчала. Но в тусклом утреннем свете Афанасию Модестовичу показалось, что олень на её поверхности чуть повернул голову – к нему, словно прислушиваясь.

– Не отдам, – сказал он твёрдо. – Пока я здесь, не отдам. А там – будь что будет.

Он задвинул драпировку, проверил замок на служебной двери и сел писать в своей тетради:

«19 декабря, 6 часов утра. Подслушан разговор сторожей Степана и служителя Петра о похищении № 147 по заказу господина Велесова. Срок – до Рождества. Задвижка служебной двери была тронута. Замысел подтверждён. Принял решение: экспонат из зала не выносить, но принять меры к его сокрытию в пределах музея, в месте, известном только мне. Сегодня же составлю подложную опись для отвода глаз. Барону Штейну сообщу лишь самую необходимую часть. Директору – после праздников. Если доживу».

Он поставил дату, закрыл тетрадь и спрятал её в нагрудный карман шинели.

За окнами вставало декабрьское солнце – бледное, холодное, словно нехотя освещающее город, где готовилась кража, а может быть, и нечто большее, чем кража.

В тот же день Афанасий Модестович предпринял действия, о которых не написал в тетради, ибо знал: бумаги могут попасть в чужие руки.

Он дождался, когда барон Штейн уйдёт обедать, и заперся в зале номер семь. Затем, достав из кармана ключ, который хранил при себе двадцать лет и никому не показывал, он открыл потайной шкаф в стене за скелетом мамонта.

Шкаф этот был заложен ещё при строительстве здания – глубокая ниша, куда когда-то ставили запасные светильники. Потом о ней забыли, заложили фанерой, задвинули скелетом. Афанасий Модестович обнаружил её случайно, десять лет назад, меняя прогнившие доски пола. С тех пор ниша служила ему тайником для личных вещей – старых писем, сбережений, запасных ключей.

Теперь он решил использовать её для экспоната.

Он снял с витрины бархат, открыл стеклянную крышку и впервые за много лет взял кость в руки. Она была холодной – не той холодной, какой бывает старая кость в холодном помещении, а какой-то глубинной, идущей изнутри. От неё пахло морем, водорослями, льдом – запах был настолько сильным, что у Афанасия Модестовича защемило в носу.

– Ну, пойдём, – сказал он тихо. – Побудешь у меня, пока шум уляжется.

Он завернул кость в чистую холстину, затем в бархат, затем в кожаную сумку, которую носил для продуктов. Сумку положил в нишу, задвинул фанерой, задвинул скелетом. Поверх всего бросил старые тряпки и ведро с песком – для пожарной безопасности.

Затем он вернулся к витрине, закрыл её, но внутрь положил то, что приготовил заранее: кусок старой, выбеленной временем кости, найденный на чердаке, грубо обточенный, похожий на оригинал издали, но не имеющий ни резьбы, ни истории.

Подложный экспонат он завернул в бархат, задрапировал витрину, повесил крест и отошёл, оценивая работу.

Издалека, через мутное стекло, разглядеть подмену было невозможно. А ближе никого не подпустят – до Рождества музей работал только для публики, а публика к витринам не прикасалась.

Тетрадь он перепрятал в другой тайник – под половицей в сторожке.

Оставалось самое трудное: делать вид, что ничего не случилось. Улыбаться Степану, здороваться с Петром, спокойно отвечать на вопросы о том, не случилось ли чего в зале номер семь.

Он сидел в сторожке, перебирал бумаги и ждал. Ждал, когда они решатся. Ждал, когда придёт Велесов. Ждал, что будет в ту ночь, которую он провёл не в зале – назло врагам, чтобы они думали, что он успокоился.

В тетради на новой странице он написал только одно:

«Жду. Всё готово. Господь да управит».

За окном темнело. До Рождества оставалось шесть дней.

Из дневника Афанасия Модестовича Стаховича, запись от 20 декабря 1888 года:

«Сегодня Степан спросил, не собираюсь ли я снова ночевать в седьмом зале. Сказал, что „беспокоится за моё здоровье“. Глаза у него при этом бегали. Ответил, что трубы починил, больше не нужно. Видел, как он переглянулся с Петром. Значит, будут действовать в ближайшие ночи. Ключ от парадной двери всегда при мне. Служебную задвижку я смазал маслом – пусть скрипит тише, когда будут ломиться. Им и в голову не придёт искать экспонат в стене за мамонтом. А если и придёт – там теперь ведро с песком и старые тряпки. Кость лежит глубже, за фанерой. Никто не найдёт».

«Странно, но с тех пор, как я спрятал её, в музее стало тихо. Ни гула по ночам, ни запаха соли. Даже в зале номер семь воздух стал обычный, музейный. Неужто и вправду успокоилась? Или затаилась, как и я, ждёт своего часа?»

«Велесов обещал прийти завтра. Говорят, приедет с каким-то учёным из Берлина. Буду наблюдать».

«Господи, храни музей».

Глава 5. Охотник за костью

Павел Николаевич Велесов не был тем, кем казался. В петербургских гостиных его знали как богатого коллекционера, наследника сибирских золотопромышленников, человека с тонким вкусом и обширными связями. Он появлялся на вернисажах, жертвовал деньги на археологические экспедиции, состоял в переписке с европейскими музеями. Его коллекция древностей считалась одной из лучших в частных руках – там были скифское золото, византийские эмали, редкостные старообрядческие иконы.

Никто не знал, что за всем этим стоит иное – страсть, граничащая с одержимостью, и знание, которое он тщательно скрывал от непосвящённых.

Велесов искал не просто древности. Он искал вещи, которые сохранили в себе память о чём-то, что наука называла суеверием, а древние – силой.

Всё началось за двадцать лет до описываемых событий, в далёком Красноярске, где отец Павла Николаевича, купец первой гильдии Николай Алексеевич Велесов, владел золотыми приисками и кожевенными заводами. Старший Велесов был человеком суровым, практичным, далёким от мистики. Золото он мыл, кожу дубил, детей растил в строгости. Но была у него одна странность: он собирал предметы, найденные в могильниках и на старых городищах, которые рабочие приносили с приисков.

– Баловство, – говорил он, когда знакомые купцы посмеивались над его коллекцией. – Для памяти. Чтобы помнили, на чьей земле золото копаем.

На самом деле причина была иной. На одном из приисков, вскрывая древний курган, рабочие нашли не золото, а нечто, что потом долго не могли описать словами. Оно лежало в деревянном ковчежце, обтянутом берестой, и представляло собой сплетение корней, костей и какого-то чёрного, блестящего камня, который мерцал в темноте, даже когда не было света.

Николай Алексеевич велел принести находку в контору. И той же ночью ему приснился сон – или не сон, а явь, смешанная с бредом. Ему снилось, что он стоит на берегу Ледовитого океана, а перед ним из воды выходят люди в старинной одежде – скуластые, обветренные, с глазами, полными тоски. Они не говорили, но он понимал их без слов: они искали дорогу домой, и путь их лежал через вещь, которую он забрал из кургана.

Утром Николай Алексеевич проснулся в холодном поту и нашёл на столе у себя в кабинете тот самый ковчежец – хотя точно помнил, что вчера спрятал его в сейф. Камень внутри мерцал слабым голубоватым светом.

Через неделю купец Велесов продал прииск, перевёз семью в Петербург и больше никогда не возвращался к золотодобыче. Коллекцию древностей он продолжил собирать, но теперь – с одной целью: понять, что он принёс из сибирской тайги и как с этим жить.

Павлу было тогда пятнадцать лет. Он запомнил отца изменившимся – молчаливым, постоянно что-то читающим, советующимся с какими-то странными людьми, которые приходили в дом по ночам. Одни были в рясах, другие – в сюртуках профессоров, третьи – в звериных шкурах, как инородцы. Они говорили о «границах», о «вещах с памятью», о «мирах, что лежат за миром».

Николай Алексеевич умер через пять лет, не дожив до пятидесяти. Перед смертью он призвал сына и передал ему ковчежец с чёрным камнем.

– Это не для продажи, – сказал он, и глаза его горели лихорадочным блеском. – Это ключ. Я так и не понял – к чему. Но есть люди, которые знают. Найди их, Павел. И будь осторожен. Вещи... вещи не прощают, когда их тревожат без понимания.

Ковчежец Павел унаследовал. А вместе с ним – отцовскую страсть и отцовский страх.

Следующие пятнадцать лет Велесов посвятил тому, чтобы стать тем, кого отец искал, но не нашёл. Он объездил полмира: был в Тибете, где беседовал с ламами о «вещах, наделённых

душой», в Египте, где раскапывал гробницы вместе с французскими археологами, в Лапландии, где выслеживал последних нойдов – шаманов, помнивших старые обряды. В Париже он купил поддельное графство и титул, чтобы вращаться в высшем свете и иметь доступ к закрытым коллекциям. В Лондоне тайно встречался с членами герметического ордена, которые собирали артефакты «силы».

Но главное открытие ждало его в архивах Московского университета, где он нашёл путевые заметки штабс-капитана Корсакова – того самого, чью статью позже прочитает Афанасий Модестович. Корсаков, оказывается, вёл дневник, не предназначенный для печати, и в нём были подробности, которые он опустил в официальном отчёте.

Вот что писал Корсаков:

«Старик Таганай, прежде чем отдать мне историю о резной кости, долго смотрел на меня, а потом спросил: „Ты тоже ищешь? Как тот, что был до тебя?“ Я не понял. Тогда он объяснил: за десять лет до его прихода на становище был другой человек – не купец, не учёный. Он приплыл на большом корабле, с людьми в чёрном, и искал не меха и не золото. Он искал „дорогу“. Таганай сказал, что тот человек был сильным – сильнее шамана, но слепым. Он забрал какой-то предмет, и после этого море забрало трёх лучших охотников из стойбища. А через год, говорят, того человека нашли мёртвым в его собственном доме в далёкой земле, и предмет исчез. Таганай не хотел повторения, поэтому и отдал кость Хабарова, чтобы „белый человек увёз её далеко, к своим“. Но он сказал: „Кость вернётся. Она всегда возвращается. И тогда тот, кто придёт за ней, должен быть чистым. Иначе море поднимется“».

Велесов перечитал эти строки десятки раз. Тот, кто был до Корсакова – кто он? Какой предмет искал? И почему умер?

Он начал расследование. По крупичкам, по обрывкам архивных дел, по купеческим записям и полицейским протоколам он восстановил имя: барон фон Гаккерн, немецкий авантюрист, состоявший при русской миссии в Стокгольме. В 1831 году он снарядил экспедицию на Север за свой счёт, якобы для изучения промыслов, но на самом деле – для поиска «языческих святилищ». Он вернулся с севера с каким-то предметом, который держал в секрете, и через год был найден мёртвым в своей квартире в Гамбурге. Вскрытие показало, что смерть наступила от переохлаждения – в комнате, где топилась печь, температура была выше двадцати градусов. Тело барона было покрыто инеем, а на губах – соль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.